

РОМАН №23 ГАЗЕТА

Марк Алданов / Самоубийство





Марк Алданов (Ландау)

Родился в 1886 г. в Киеве. Окончил физико-математический и юридический факультеты Киевского университета. В молодости много путешествовал. В России выпустил две книги: «Толстой и Роллан» (1915) и «Армагеддон» (изъята из продажи). В течение всей жизни не оставлял научных занятий, зарекомендовав себя незаурядным химиком-экспериментатором.

В 1918-м эмигрировал из Одессы в Берлин, потом в Париж, где жил до 1941 года. В 1941–1947 — в США.

Известность получил как автор романов «Девятое термидора», «Чёртов мост», «Заговор», «Святая Елена, маленький остров», «Ключ», «Бегство», «Пещера», «Начало конца», «Истоки», «Живи как хочешь», «Бред», «Самоубийство», «Истребитель», очерков («Lenine», «Десятая симфония»), мемуаров («Современники», «Портреты») и философского диалога «Ульямская ночь».

Последние годы жизни Алданов провел на юге Франции. Умер в Ницце в 1957 году.



«Сибирские огни»: старые традиции и новые авторы

В 2016 году редакция журнала «Сибирские огни» (Новосибирск) — старейшины среди российских литературных «толстяков» — решила возобновить «советскую» практику проведения региональных совещаний начинающих авторов. От слова «молодых» в наименовании было решено отказаться: за четверть века, прошедшие с последнего из подобных форумов в Новосибирской области, молодые успели повзрослеть. Но, коль скоро писать они не бросили, было бы несправедливо лишать их дружеского профессионального общения и квалифицированного разбора рукописей.

С той поры совещание стало традиционным, ежегодным. Помимо поэтов и прозаиков на него созывались критики, публицисты, краеведы, очеркисты. Была расширена география: к Сибири присоединился Дальний Восток. В ковидные времена работа с начинающими авторами велась только заочно, в онлайн-режиме, но каждый год на страницах «Си-



бирских огней» (отметивших в 2022 году свой столетний юбилей) появлялись новые тексты семинаристов. Многие из них за прошедшие годы выпустили книги, стали членами Союза писателей, словом, обрели столь важное для всякого пишущего про-

фессиональное и читательское признание.

Вот и в конце 2023 года состоялось уже VIII Совещание авторов Сибири и Дальнего Востока, которое по традиции организует и проводит журнал «Сибирские огни» совместно с министерством

Окончание см. на 3 стр. обложки.



Н А Р О Д Н Ы Й Ж У Р Н А Л

РОМАН-ГАЗЕТА

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «РОМАН-ГАЗЕТА»

ЖУРНАЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В КОМИТЕТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПЕЧАТИ. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ №013639 от 31 МАЯ 1995 г.

Учредитель и издатель
ООО «Роман-газета»

Главный редактор

Юрий Козлов

Редакционная

коллегия:

Дмитрий Белюкин

Алексей Варламов

Анатолий Заболоцкий

Владимир Личутин

Юрий Поляков

Ответственный

редактор

Елена Русакова

Права

на использование

товарного знака

«Роман-газета»

принадлежат

ООО «Роман-газета»

© ООО «Роман-газета», 2023

Все права защищены

Журнал зарегистрирован

в Министерстве связи

и массовых коммуникаций РФ.

Свидетельство о регистрации

ПИ № ФС77-68350

от 30.12.2016 г.

Подписаться

на журнал «Роман-газета»

можно в отделениях связи

и через Интернет:

roman-gazeta-1927@yandex.ru

Подписные

индексы издания:

в объединенном

каталоге

«Пресса России»

38915 на полугодие;

в электронном каталоге

«Почта России»

П1526 на полугодие

Точка зрения автора может

не совпадать с позицией

редакции

2023 №23 /1940/ Основана в 1927 г.

Марк Алданов

Самоубийство

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Чете Рихтеров был указан в Брюсселе сборный пункт: квартира Кольцова. Этот же адрес был дан и другим участникам съезда. Но консьержка, находившаяся со вчерашнего вечера в состоянии полного бешенства, объявила, что больше ни одного «саль-рюсс»¹ в дом не пустит: пустила четырех, входят как к себе, шумят, кричат, довольно!

Хозяин квартиры был очень смущен и даже взволнован: боялся, что гость рассердится. Кольцов кричал, что этого так не оставит, что будет жаловаться властям (не сказал: полиции), что обратится к бельгийской социалистической партии. Однако Рихтер не рассердился и высказался против жалоб: он всю жизнь боялся консьержек; говорил, что быть с ними в добрых отношениях обязательно для каждого революционера.

— ...Да ничегошеньки ваша бельгийская партия сделать не может, если б даже и согласилась. Нельзя ли нам приютиться в помещении съезда?

Кольцов развел руками еще более смущенно.

— Никак нельзя, Владимир Ильич. Это помещение просто амбар для муки! Им было очень, очень совестно, они страшно извинялись, но ничего другого не оказалось!

— Не оказалось? — с усмешкой спросил Рихтер. Это был невысокий, коренастый лысеющий человек с высоким лбом, с рыжеватыми усами и бородкой, в дешевом, чистом, без единого пятнышка синем костюме с темным галстуком, концы которого уходили под углы двойного воротничка. Глаза у него были чуть косые и странные. Он был всю жизнь окружен ненаблюдательными, ничего не замечавшими людьми, и ни одного хорошего описания его наружности они не оставили; впрочем, чуть ли не самое плохое из всех оставил его друг Максим Горький. И только другой, очень талантливый писатель, всего один раз в жизни его видевший, но обладавший необыкновенно зорким взглядом и безошибочной зрительной памятью, весело рассказывал о нем: «Странно, наружность самая обыкновенная и прозаическая, а вот глаза поразительные, я просто засмотрелся: узкие, красно-золотые, зрачки точно проколотые иголкой, синие искорки. Такие глаза я видел в зоологическом саду у лемура, сходство необычайное. Говорил же он, по-моему, ерунду: спросил меня — это меня-то! — какой я «фХакции». Ленин сильно картавил, но не на придворный, не на французский, не на еврейский лад; почему-то его картавость удивляла всех, впервые с ним встречавшихся. — Что ж делать? Не оказалось. Утешимся же тем, что

¹ «Грязный русский» (фр.: sale russe).

им очень, очень совестно. Ищите для нас, товарищ Кольцов, помещеньице в каком-либо отельчике подешевле, но в чистеньком. А консьержку оставьте в покое, не то она и вас выживет.

То, что гость не рассердился, успокоило Кольцова: он боялся Ленина еще больше, чем Ленин боялся консьержек. Кого-то отрядили караулить других участников съезда. Объявил, что все-таки позвонит по телефону, — назвал имя видного бельгийского социалиста:

— Он во всяком случае пригодится, очень любезный человек, — сказал Кольцов.

— Валяйте, звоните. Пусть устроил бы скидку. Но с первых слов успокойте его, а то сей субъект подумает, что мы у него просим денег.

Вид Надежды Константиновны показывал, что она недовольна: не для нее, конечно (о себе она редко думала), но для вождя партии могли обо всем позаботиться заранее и не заставлять его ждать с вещами на улице. Она вдобавок видела, что Володя устал и нездоров; еще не так давно в Лондоне его мучила «зона». «Неужто начнется опять!» — думала она с ужасом. Была и сама утомлена, однако это не имело никакого значения. Желчные шутники в партии, подражавшие Плеханову, говорили, что Ленин женился на ней из принципа «чем хуже, тем лучше», и называли ее «миногой». Впрочем, ее скорее любили: при несколько суровом и гордом виде, она была не зла, не тщеславна, ни к каким званиям и должностям не стремилась, хотя по своим заслугам на некоторые, не очень важные, звания имела бы права. «Коротки ноги у миноги, чтобы на небо лезть». — Надежда Константиновна никуда не лезла и никому не завидовала. Она была женой Ленина, и этого было достаточно. Во всем мире, кроме ближайших родных, одна она его называла Володей. Даже люди, бывшие с ним на «ты» (их всего было два или три человека), называли его «Владимир».

— Этот съезд очень важен... Он, собственно, представляет собой Учредительное собрание партии, Первый съезд не идет в счет, — сказала она второстепенному (только с «совещательным») делегату, занимавшему ее разговором.

Кольцов побежал в соседнюю лавку: «Не звонить же от этой злой бабы!»

— Подумайте, сам товарищ Ленин остался без пристанища! — сказал он по телефону. Бельгийский социалист не знал, кто такой Ленин, но отнесся вполне сочувственно. В первую минуту в самом деле опасался, что русские эмигранты, почти все бедняки, чего доброго, попросят у него денег!

— Вот что, я сейчас же позвоню в «Кок д'Ор», — сказал он. — Хозяин этой гостиницы член партии и мой приятель, он, верно, сделает и скидку для русских товарищей. Вы можете туда прямо проехать с товарищем Лениным, которому, пожалуйста, передайте привет.

Кольцов вернулся и сообщил всем новый адрес. Ленин, как ему показалось, предпочел бы, чтобы другие участники съезда остановились не в той же гостинице, что он.

— Я вас провожу, Владимир Ильич.

Нанял извозчика. Ленин сказал, что можно было бы поехать на трамвае. Кольцов объявил, что в трамвай такого чемодана не возьмут. Чемодан, выдавший виды на долгом веку, был в самом деле объемистый. Ленин сам его дотащил до дрожек, хотя старался отобрать у него Кольцов.

— Почему же будете нести вы? Я покрепче вас, — сказал Ленин нетерпеливо и, несмотря на все протесты Кольцова, сел на неудобную переднюю скамейку, предоставив ему место рядом с женой. Она была этим не очень довольна: «Володя уступает место Кольцову!» Кольцов же не мог не оценить: «Вот чего не сделал бы Плеханов!»

По дороге разговор не клеился. Надежда Константиновна еще гневалась, хотя и меньше.

— Судьбы нашей партии зависят от того, кто будет ее главным руководителем. И потому очень важен каждый голос на съезде, — сказала она.

Муж оглянулся на нее с неудовольствием. Предполагалось, что вопрос о руководителе не имеет никакого значения. Она тотчас это поняла и немного смутилась.

— Я еще точно не знаю соотношения сил, — уклончиво ответил Кольцов. «Будет, конечно, голосовать с Мартовым!» — сердито подумал Ленин.

— Соотношение сил уже известно, — сказал он как бы равнодушно. — «Совещательные» не в счет, будет тридцать три делегата с одним голосом и девять двуруких. Из всей компании пять бундовцев, три рабочедельца, четыре южнорабоченца, шесть болота, остальные искряки.

— Искряки-то искряки, но вполне ли надежно их искрянство? — вставила Надежда Константиновна. — Ведь Мартов тоже искряк.

Ленин опять оглянулся на нее с досадой и что-то пробормотал.

— А какую позицию вы окончательно решили занять в отношении бундовцев? — поспешил перевести разговор Кольцов.

— Прямо в зубы их бить не буду, но отношение будет архихолоднейшее. Пусть Бунд наконец выявит свою личину! Во всяком случае, в Фёклу ни одного из этой компании не возьмем, пусть идут к черту! Ту се ке вуле, мэ па де са¹, — сказал Ленин. Он часто вставлял в разговор и в письма слова на неправильном французском, немецком или на латинском языке. «Фёклой» называлась редакция «Искры».

— Они и не претендуют на это, — сказал Кольцов обиженно. Он смутно — и совершенно неосно-

¹ Все что хотите, только не это (*фр.*: Tout ce que vous voulez, mais pas de ça).

вательно — подозревал Ленина, как и Плеханова, в некотором скрытом антисемитизме. — Просто они маленькие люди с ограниченным кругозором. Я говорю только о тех, которые будут на съезде.

— Что маленькие, это не беда. («Ты сам гигант», — насмешливо подумал Ленин.) — Лучше маленькая рыбка, чем большой таракан. Но они хотят федерацийки, чтобы быть единственными представителями еврейского пролетариата. Фигу им под нос вместо федерации!

— А если они уйдут со съезда?

— Скатертью дорога, — сказал Ленин и подумал, что если бундовцы уйдут, то у Мартова будет пятью голосами меньше при выборе редакции «Искры». «Непременно раньше поставить вопрос о Бунде», — решил он.

Извозчик подъехал к гостинице. Кольцов хотел заплатить.

— У вас, Владимир Ильич, верно, еще и нет бельгийских денег?

— Есть деньги, разменяли на вокзале, — сказал Ленин. Он жил скудно, берег каждую копейку, но не любил, чтобы за него платили другие, особенно бедные люди, как Кольцов.

Комнатка в гостинице оказалась недорогая (хозяин в самом деле сделал скидку) и довольно уютная. В ней были и письменный стол, и даже полка для книг, — очень полезные вещи: съезд должен был длиться не меньше месяца. На полке лежали разрозненные номера иллюстрированных журналов.

— Я разберу вещи. Да и работа есть, — сказала Надежда Константиновна, взглянув на Кольцова. Она знала, что мужу отравляют жизнь разговоры: он и в Мюнхене, и в Лондоне, и в Женеве просил товарищей приходить к нему пореже, если не было дела.

— А мне надо бежать, — поспешно сказал Кольцов, тоже не очень хотевший с ними разговаривать; разговор мог стать неприятным.

— Бегите, — с готовностью согласился Ленин. — Здесь как? Надо хозяину показать паспорта?

— Не надо, никакой прописки не требуется, — объявил Кольцов. Он хотел было добавить, что Бельгия почти такая же свободная страна, как Швейцария, но не добавил: это замечание не понравилось бы вождю партии. Многие находили, что Рихтер — он же Н. Ленин, Тулин, Петров, Ильин, Старик, Ульянов — уже важнейший из вождей. Еще недавно он был главой того, что называлось шутивно «Тройственным союзом»: Ленин — Мартов — Потресов. Такой же Тройственный союз был и в старшем поколении: Плеханов — Аксельрод — Засулич. Но, как ни у кого в Европе не было сомнений в том, что в настоящем Тройственном союзе всем руководит Германия, так и у социал-демократов признавалось, что главные среди шести — это Ленин и Плеханов. Остальные четверо, при всех их качествах, были как бы тайными советни-

ками революции при двух действительных тайных. Впрочем, теперь положение изменилось: разделение шло по другой линии, борьба намечалась преимущественно между Лениным и Мартовым.

— Я значусь Рихтером, и письма к вам будут приходить на имя Рихтера. Все передавайте ей или мне, только, пожалуйста, без всякого замедления, — сказал Ленин. Несмотря на отсутствие в нем чванства, в его голосе послышался приказ. — А что, этот амбар отсюда далеко?

— Нет, недалеко, Владимир Ильич. Хотите взглянуть? Они мне дали ключ.

— Какие любезные! Если недалеко, пойдем. Ты ведь, Надя, тем временем разберешь вещи?

— У меня работы на час, если не больше. Можешь, Володя, не торопиться. И купи чего-нибудь к чаю, хлеба, ветчины. Сыр и сахар я привезла.

В амбаре было темновато и сыро. Когда они вошли, во все стороны рассыпались крысы. У стен лежали груды кулей с мукой. Впереди, против входа, стояли стол и за ним два стула, а перед ними несколько рядов некрашенных скамеек. Ленин вдруг расхохотался веселым заразительным смехом. Кольцов смотрел на него со сконфуженной улыбкой.

— Да, неказистый зал. Мы завтра все проветрим и постараемся достать хоть стулья. Что ж делать, ничего другого не оказалось.

— Для себя они небось нашли бы помещенье получше, а? — говорил Ленин, продолжая хохотать. — А уж если б, скажем, международный конгресс, то сняли бы какой-нибудь отельчик вроде «Бристоля», или «Империала», или там «Континенталья». Это для дрекгеноссов-то, а? — Так он часто называл тех иностранных, особенно германских, социал-демократов, которых не любил. — За амбар гехейматы¹ с Каутским им набили бы морду, а, Кольцов? И то сказать, оговорочка: гехейматы всех стран платят чистыми деньжатами. Только с нами, с «саль русс», можно не считаться. — Он наконец перестал смеяться и вытер лоб чистым белым платком. — Ничего, товарищ Кольцов, со временем будут считаться и с нами, уж это я вам обещаю!.. А чей же это милый амбарчик? Мука с крысами, а? Мы крыс вывели бы, да заодно и таких хозяйчиков. Но вы не конфузьтесь, вы не виноваты, что нет денег. А вот товарища Плеханова предупредите, насчет крыс-то. А то он очень разгневается... Давайте посидим, передохнем, — сказал он. Достал из кармана прочтенную в поезде аккуратно сложенную газету, накрыл ею скамейку и сел.

— Почему же именно Георгий Валентинович рассердится? Вы ведь не рассердились, Владимир Ильич, — сказал Кольцов, тоже садясь.

— Как же вы сравниваете, а? Во-первых, он председатель. Будет говорить торжественное слово,

¹ Тайные советники (нем.: Geheimrat).

верно, что-нибудь воскликнет, а тут вдруг пробежит крыса и испортит «восклицание», разве хорошо, а? Притом он смертельно боится крыс. Вообще слишком много боится. А в-третьих, он генерал, из помещичьих сынков. Не весьма, впрочем, из важных. Вот Потресов действительно генеральский сын и давно забыл об этом, а у Георгия Валентиновича родной брат где-то исправником, не велика фря!.. Увидите, он явится на открытие съезда в визитке, или как у них там эта длиннополая штучка называется, — сказал Ленин и на всякий случай повторил ходивший в партии рассказ о том, как в свое время Плеханов, отправляясь в Лондоне на свидание с Энгельсом, купил и надел цилиндр.

Говорил он якобы благодушно. Когда-то был почти влюблен в ум, таланты и ученость Плеханова, затем разочаровался и разошелся с ним. Писали они друг другу то «дорогой», то «многоуважаемый», то без всякого обращения, очень сухо и враждебно. Недавно порвали было личные отношения, потом их возобновили. Теперь же должны были действовать заодно, в полном союзе. Все же при случае не мешало ввернуть словечко и о Плеханове. Перед этим съездом лучше было бы ввернуть что-либо о Мартове, но он не нашел ничего подходящего, хотя бы вроде визитки или цилиндра.

Кольцов слушал без улыбки. Он был очень корректен, не любил сплетен, да и не раз уже слышал рассказ о цилиндре Плеханова. В партии его уважали как полезного человека и старого революционера — он был когда-то народовольцем, близко знал брата Ленина, затем в эмиграции стал социал-демократом, но выполнял преимущественно черную работу. Партию любил всей душой, почти как семью: в них, в семье и партии, был смысл его жизни. В вожди он не метил и нигде не назывался даже «видным» (а это было гораздо меньше, чем «известный»). Нежно любил Аксельрода, Веру Засулич, Мартова, Потресова и тщательно скрывал, даже от самого себя, нелюбовь к Плеханову и особенно к Ленину, которого он с ужасом считал человеком аморальным и способным решительно на все. Кольцов знал, что Ленин хочет стать партийным диктатором. Это было недопустимо, и он своего мнения не скрывал; но политических споров с Лениным в меру возможного избегал и при них съезжался: так на него действовали безграничная самоуверенность этого человека, его грубые отзывы о товарищах, его презрительный смешок и больше всего шедший от его глазок волевой поток. «Ох, дубина!» — подумал Ленин, внимательно на него глядя.

Он вдруг стал необычайно любезен. Одна из его особенностей заключалась в сочетании презрительного равнодушия к людям с умением их очаровывать в тех случаях, когда они были нужны ему или партии. Очень многие товарищи его обожали, искренне считали добрым, милым, благожелательным челове-

ком. Он был «Ильич»; Плеханов никогда не был «Валентинычем».

Изменив тон, он стал называть Кольцова по имени-отчеству, спросил о семье, о делах, о планах. Затем перешел к съезду. Как ни незначителен был Кольцов, не мешало повлиять и на него. Иногда Ленин часами вдалбливал свои мысли в голову двадцатилетним малограмотным людям, особенно если они были рабочие, и делал это с большим успехом.

— ...Да, будет у нас здесь драчка, Борис Абрамович, — сказал он якобы с грустью. — Вначале дела пойдут менее важные: Бунд, равноправие языков, потом программа. Тут споры, конечно, будут, но сговоримся. Главное же, как вы понимаете, это устав и выборы, в частности, выборы редакции «Искры».

— Я стою за прежнюю редакцию в ее полном составе из шести человек, — поспешно сказал Кольцов. Лицо у Ленина дернулось, но он тотчас сдержался и даже взял Кольцова за пуговицу. («Тоже никогда не сделал бы Плеханов».)

— Послушайте, Борис Абрамович, ведь вы разумный человек, — сказал он. Хотел было сказать: «вы умный человек», но язык не выговорил. — Разве можно работать при такой редакции? Ведь это не редакция, а какая-то семеечка! Вдобавок, почтеннейший Аксельрод за три года ни на одном ровнехонько заседании не был. Сей муж занят своим кефиром или кумысом или черт его знает, чем он занят. Из него, а паки из Засулич, давно песок сыплется...

— Помилуйте, Владимир Ильич! Вере Ивановне всего пятьдесят два года!

— Неужели? Я думал, им по сто пятьдесят два. В «Искре» все делали Мартов и я, всю работу, и идейную, черную. Вы знаете, что мы теперь с Мартовым на ножах, но я предлагаю ему конкубинат¹: он, Плеханов и я. Прелесть что за журналчик создадим!

Кольцов печально покачал головой.

— Товарищ Мартов в трехчленную редакцию не войдет. Он считает, что это было бы неэтично в отношении трех остальных редакторов. И я с ним согласен... Вы большой человек, Владимир Ильич, но разрешите сказать вам: вы человек нетерпимый, — сказал он мягко.

Лицо Ленина исказилось бешенством. У него покраснели скулы.

— Ну, еще бы! Это все у вас говорят: «Ленин-де нетерпимый». Ерунду говорите, товарищ Кольцов! И партия не дом терпимости!

— У нас может образоваться нечто вроде бюрократического централизма, а это очень нежелательно. Не скрою от вас, в партии уже говорят о вашем «кулаке», я, конечно, этого не думаю, но я...

«Но я болван», — мысленно закончил за него Ленин. Он действительно находил необходимым «ку-

¹ Сожительство (*лат.*: concubinatus).

лак», и именно свой. Понимал, что Мартов в самом деле откажется, а Плеханов в работу вмешиваться не будет: будет только давать теоретические советы.

— Ваши «этические» соображения мне совершенно не нужны и не интересны! Вы можете оставить их при себе! — сказал он с яростью. Встал и быстро направился к выходу. Кольцов грустно поплелся за ним.

Надежда Константиновна сидела за единственным столиком комнаты на ее единственном стуле и что-то писала, морща лоб. Перед ней лежали листки бумаги. Она зашифровывала письмо. Всегда делала это добросовестно, усердно и даже, несмотря на привычку, восторженно-благоговейно. Теперь у нее были угрызения совести: в Женеве не успела зашифровать и отправить письмо, написанное Лениным позавчера одному кружку на Волге. Не было ни одной свободной минуты: надо было и накормить мужа, и купить билеты, и уложить вещи, книги, бумаги, и к кому-то с его поручениями забежать (она не просто ходила к людям, а всегда забегала). В поезде зашифровывать было очень неудобно, да и опасно: могли обратить внимание. Теперь оглянулась на мужа с виноватым видом.

— Я думала, Володя, что ты придешь позже. Я через пятнадцать минут кончу. Но могу и отложить, если тебе очень хочется чаю. Ты что купил?

— Пиши, я подожду, — сказал он, хмуро на нее взглянув. Письма нужно было зашифровать в Женеве, но если уж не успела, то можно было здесь и отложить на день, ничего в мире от этого не произошло бы. Впрочем, почти никогда на жену долго не сердился. Любил ее или, по крайней мере, очень к ней привык; быть может, только ей одной во всем свете верил вполне, во всем, без тени сомнения. Она была предана ему именно «беззаветно». Теперь ее усталое, рано поблекшее лицо, с бесцветными влажными глазами, с гладко зачесанными жидкими волосами, было особенно некрасиво. Он чуть вздохнул.

— Хороший амбар? Такое невнимание к тебе... К нашей партии! Хорош и Кольцов!

— Очень хорош. Лучше субъектов не бывает, на выставку послать! — сказал он сердито и осмотрелся в комнате. Она была чистая, рукомоийник сносный, на подвижном шесте висели два полотенца. «У нас в Симбирске все было бы в таком отельчике загажено и проплевано». Умыться было невозможно: мыло было в чемодане. «Потом... Ох, устал, ничегошеньки не могу». Он и думал на странном языке, частью волжском, частью калужском, очень особом и чуть шутовском, с разными уменьшительными, уничижительными, грубо-насмешливыми словами. Взял с полки иллюстрированные журналы и прилег на кровать, неудобно свесив с нее ноги в залатанных, но чистых башмаках.

На обложке была изображена королева Виктория. Журнал весь был заполнен изображениями скончавшейся королевы, от ее детских лет до смертного одра. Королева на коленях молилась у гроба Наполеона I во Дворце Инвалидов; рядом, с взволнованными исторической сценой лицами, стояли ее муж, императрица Евгения и Наполеон III. В Лондоне герольды в пышных костюмах объявляли на площади о вступлении на престол нового короля. Плакали какие-то индусы в тюрбанах. Плакали английские социалисты. Плакал Сток-Эксчендж. Эдуард VII встречал на вокзале Вильгельма II. В фельдмаршальских мундирах, сплошь покрытых орденами, они ехали верхом за гробом. Были изображены разные покои Осборнского дворца, в котором королева скончалась. Дворец был не из великолепных, но роскошь покоев раздражала его еще больше, чем вид плачущих социалистов. «Ничего, дождутся! Все они дождутся!»

«Долгое царствование этой старейшей из коронованных особ Европы займет великое место в истории, — читал он. — Старик Дизраэли украсил ее корону новым драгоценным алмазом: британская королева стала императрицей Индии. Она очень дорожила этим своим титулом и даже среди своих служителей дала видное место индусам... Царствованием Виктории заканчивается в истории, по крайней мере, в Европейской, период бурь. Хотя из-за глубокого траура в Лондоне теперь не было политических бесед, все сошлось на том, что настал наконец для человечества период мира, общего благоденствия и прогресса на началах свободы. («Экое, однако, дурачье! Пора бы им в желтые домики», — думал он, читая с искренним наслаждением.) Лучше всего свидетельствует об этом общая скорбь Европы. Отметим, в частности, то, что германский император своим неподдельным горем на похоронах завоевал все английские сердца. Газеты сообщали, что при его отъезде к нему на вокзале подошел простой британский рабочий, поклонился и сказал «Thank you, Kaiser!»¹ (Ленин непристойно выругался). Ничто не могло красноречивее передать чувства английского народа, чем эти простые слова простого человека. Стоявший рядом с императором король Эдуард VII так пояснил их своему коронованному гостю: «Так же, как он, думают они все, каждый англичанин. Они никогда не забудут твоего приезда на похороны моей матери». Оба монарха были глубоко растроганы. Скажем и от себя, что если в нашей маленькой стране сердца людей и не вибрировали совершенно в унисон с сердцами британскими, то все же Осборнская трагедия нашла и у...»

— Бундовцы уйдут, и черт с ними! — неожиданно сказал Ленин. Надежда Константиновна на него оглянулась, впрочем без особого удивления: знала

¹ «Спасибо, император!» (англ., нем.)

его манеру думать вслух, вдобавок читая о совершенно другом.

— Разумеется, пусть уходят, хотя в принципе это и нежелательно. Ты не можешь... Партия не может согласиться на федеративное начало, в этом все искряки согласны, даже мартовцы согласны, — ответила она.

— «*Sans vibrer à l'unisson*»¹, — пробормотал он и опять уткнулся в журнал. Больше текста не было, а из иллюстраций только фотография композитора Верди, скончавшегося одновременно с Викторией, да еще две свадьбы: вышла замуж голландская королева Вильгельмина и женился Поль Дешанель. «Какой еще к черту Дешанель, будь он трижды проклят?» — подумал он. Впрочем, теперь бундовцев и мартовцев ненавидел, пожалуй, больше, чем Дешанеля и обеих королев.

У него был нехороший день, один из тех дней депрессии, изредка повторявшихся всю его жизнь. Он и в эти дни твердо верил в свои силы, которые считал огромными (в чем, к несчастью для мира, не ошибался), но думал, что до революции не доживет, «зона» давала себя чувствовать, нервы были расстроены, почти как в прошлом году в Лондоне; сам чувствовал на лице измученное выражение — на людях его снимал, товарищи не должны были считать его усталым человеком, но жена в счет не шла. Его всегда утомляла дорога, неприятная близость каких-то никому не нужных, неизвестно зачем живущих людей. Раздражали его и разные чудеса капиталистической техники, гигантские сооружения, вокзалы, подъемные краны, водокачки. Это была их техника, свидетельствовавшая о могуществе врагов. Все больше думал, что если они сами себе не перережут горла, то справиться с ними будет трудно, почти невозможно. Между тем шансов на войну было немного. «Не доживу! От какой-нибудь «зоны» могу околоть за год до революции». Из всех его мыслей эта была самой ужасной.

Ему надо было еще поработать перед съездом, выправить подготовленные им проекты резолюций; но бумаги были в чемодане, жена продолжала занимать столик. Он с досадой взял другой номер журнала, с более свежей обложкой. На ней ему опять бросилось в глаза слово «Королева». — «Третья!.. Нет, это совсем не то!» — радостно подумал он. Толстая дама в светлом платье, с широкой совершенно плоской шляпой стояла под руку с опиравшимся на саблю коренастым усатым военным. Это были королева Драга и король Александр, совсем недавно убитые в Белграде. Позади них почтительно держалась свита. Фотография была снята за несколько дней до убийства. «Весь мир содрогнулся от ужаса, узнав о трагической кончине короля Александра и королевы Драги. Только сербы обрадовались этому убийству...»

В свите были и люди, погибшие 11 июня с королем, и люди, принимавшие участие в убийстве. «Это так, это как водится... Все как на подбор, морды тупые и гордые, все опираются на саблю, как он». В краткой статье сообщалось, что темной ночью десятки офицеров ворвались в конак, вышибли топором двери, зачем-то бросили в первой комнате бомбу. От взрыва во дворце погасло электричество. При свете захваченных предусмотрительно огарков убийцы пробежали через ряд комнат, ворвались в спальню и там никого не нашли. «Полтора часа они по всему дворцу искали короля и королеву, заглядывали под диваны, все рубили топором и саблями. Александра и Драги не было! Наконец первый адъютант короля, генерал Лазарь Петрович, указал им дверь в гардеробную комнату, где несчастные жертвы провели полтора часа в мучительной моральной агонии...»

Он разыскал на обложке Лазаря Петровича. «Ну, еще бы! На вид самый почтенный из всех, просто воплощение респектабельности! Такие и нужны». Затем внимательно просмотрел фотографии, дело было интересное. Были комнаты с опрокинутыми, изрубленными стульями, длинный тяжелый топор, гардеробный шкаф с отворенными дверцами, с торчавшими платьями, окно, из которого было выброшено на цветник тело Драги. «Тяжело раненная королева вскочила с пола, рванулась к этому окну и закричала. Люди слышали только один крик, страшный, пронзительный крик! Убийцы бросились на нее». — «Так, так, тон гуманно-сочувственный, а дальше, верно, будут гадости об этой самой Драге», — подумал он и радостно засмеялся, убедившись, что угадал.

На другой фотографии был изображен конак (журнал, видимо, щеголял этим словом). Дворец был небольшой. «На Зимний не похож, да там и охрана не такая». Он не сочувствовал этим заговорщикам, которые убили одного короля, чтобы тотчас посадить на его место другого. Но многое в них ему нравилось, хотя социал-демократия не признавала террора. «Да, эти дали тон начавшемуся веку, а никак не то лондонское дурачье с кретином: рабочим. Не очень, видно, «заканчивается в истории период бурь». Он бросил журнал и вернулся к своему плану действий на съезде. Обдумывал, как шахматист, разные комбинации. Лучше всего было бы, конечно, если бы единоличным редактором «Искры» стал он, а в Центральный Комитет вошли, кроме него, еще три-четыре человека из его подручных. У него всегда были «окольные», — люди, называвшиеся так потому, что на церемониях находились около московских царей. Но он знал, что это на съезде пройти не может. «Начнется вой: «диктатура!» Буду, разумеется, отрицать, с тремолом в голосе а-ля Троцкий». Перебирал разных товарищей по съезду. Почти все были персонажи незначительные. Многие были хорошие люди, но это не имело никакого значения. Мо-

¹ «Не колеблясь в унисон» (фр.).

ральными качествами он интересовался мало; вдобавок, так называемый хороший человек не очень отличался от так называемого дурного. В своих письмах (раз сам назвал их «бешеными») осыпал грубой бранью и врагов, и единомышленников, и полудиномышленников, и бывших единомышленников, Струве называл «Иудой», Чернова «скотиной», Радека «нахальным наглым дураком», Троцкого «шельмецом», «негодяем», «сим мерзавцем», «подлейшим карьеристом»; говорил о «трусливой измене» Плеханова, о «поганеньком, дрянненьком и самодовольном лицемерии» Каутского, о «подлой трусости» своего друга Богданова, говорил даже о «подлостях» Мартова, недавно ближайшего из друзей; его в душе до конца жизни считал благородным человеком и даже по-своему «любил». В совокупности большая часть социал-демократов составляла его партийное хозяйство, и к своему хозяйству он относился заботливо, как владелец к предприятию. Из людей вообще когда-либо живших он боготворил Карла Маркса, которого никогда не видел; писал, что в Маркса влюблен и ни одного худого слова о нем спокойно не выносит. Позднее в Петербурге говорили, будто он «обожает» Максима Горького, — бывший Иегудиил Хламида очень этим гордился. Действительно, в своих письмах Ленин не называл его ни негодяем, ни мерзавцем: назвал только «теленком». Как «политического деятеля» ни в грош его не ставил. Книги же его хвалил, хотя и без горячности. Как-то в разговоре с ним, «прищурился глазами» (по-видимому, насмехаясь над творцом литературных босяков), восторгался Львом Толстым: «Вот это, батенька, художник! И знаете, что еще изумительно? До этого графа подлинного мужика в литературе не было».

Разумеется, главную свою задачу на съезде он видел в том, чтобы стать хозяином партии. Соперников, в сущности, не было. «Плеханов быть главой партии не может. Он примадонна, слишком тщеславен, слишком *rechthaberisch*¹, всего боится и во всем колеблется. Пусть открывает съезд, это с полным нашим удовольствием. Будет стоять на трибуне в длинном наряде, конечно, со скрещенными ручками, у него всегда скрещенные ручки, не то Наполеон, не то Чаадаев, — ох, надоело. Будет сыпать цитатами; и тебе Дидро, и тебе Ламеттри, и тебе Герцен». Никак не мог быть соперником и Мартов. «Слишком щепетилен, слишком нервен, вечно волнуется так, точно сейчас упадет в обморок, разве вожди бывают такие!» Об Аксельроде или Засулич и говорить серьезно не приходилось. В последнее время в партии начал выдвигаться молодой эмигрант Лев Bronштейн, обычно подписывавшийся «Н. Троцкий». В обычае было менять не только фамилии, но и имена. Так было и в литературе. Алексей Пешков уже

прогремел в России под псевдонимом Максима Горького. Троцкий хлестко писал, прекрасно говорил, бросал чеканные восклицания не хуже, чем Плеханов, и явно старался выйти в вожди; однако у него не было армии, хотя бы полагавшегося минимума из трех-четырех человек. Его все терпеть не могли; от него не просто веяло тщеславием, как от Плеханова: он был весь воплощенное тщеславие. «Мартов ему покровительствует и хочет провести его в Фёклу. Никогда не пройдет. Георгий Валентинович наложит вето, уж он-то его совершенно не выносит. И мне надоело со своим мефистофельским видом. Этот вид очень культивирует, особенно когда при деньжатах. А когда их нет, тотчас впадает в тоску...»

— Кончила! — радостно объявила Надежда Константиновна. — Теперь будем пить чай!

— Вот и хорошо.

Она достала чайник, который всегда возила с собой по разным странам, взглянула на мужа и на цыпочках вышла из комнаты. Он продолжал думать о съезде. Настоящая борьба должна была произойти лишь в конце, при обсуждении устава, при выборах редакции и Центрального Комитета. Знал, что до того депрессия у него совершенно пройдет. Обычно ей на смену приходил период необычайной, кипучей деятельности. В сотый раз подсчитывал соотношение голосов. Ему было известно, что многие социал-демократы в России с неудовольствием и с насмешками относятся к тому, что называли «эмигрантской склокой», «сварой», «грызней». Этих товарищей он считал уже совершенными дураками: они просто ничего не понимали. Действительно вся его жизнь в эмиграции была сплошной «склокой». Ею заполнены и многочисленные тома его по форме скучнейших произведений (у него не было литературного дарования). Но, быть может, он — и только он — уже тогда понимал, что в этой склоке зародыш больших исторических явлений: были две партии, а для революции ему нужна была одна, — разумеется, под его единоличной и неограниченной властью: партия окольных.

— Разрешили вскипятить воду и дали чашки, — сказала Крупская, вернувшись с подносом. — Тут в Бельгии тоже пьют чай в чашках! Их стаканы от кипятку и полопались бы. Ну, посмотрим твои покупки. Верно, переплатил? И, пожалуйста, не сердись, Володя, что я не успела зашифровать в Женеве. Это моя вина. Ты не сердисься?

— Не сержусь, — рассеянно ответил он.

— Письмо страшно важное! Отлично ты им написал.

II

Аркадий Васильевич Рейхель не слишком охотно принял предложение Ласточкиных приехать к ним из Парижа в Монте-Карло. Ему не хотелось отры-

¹ Неуступчив (нем.).

ваться от работы в Пастеровском институте и от привычных условий жизни. Люда решительно отказалась ехать с ним.

— Нечего мне у них делать, и вовсе я им не нужна, да и мне они не нужны. И зовут они меня, так сказать, «за компанию» с тобой, — говорила она.

— Мне неприятно вводить их в лишние расходы.

Рейхель жил на средства своего двоюродного брата. Они были дружны. Ласточкин по природе был щедр, а с тех пор, как разбогател, охотно дарил деньги даже чужим людям. Ему казалось совершенно естественным, что его молодой кузен, талантливый биолог, еще нуждается в его помощи. Спор между ними сводился к тому, что Аркадий Васильевич соглашался принимать только двести рублей в месяц, а Дмитрий Анатольевич предлагал ему гораздо больше. «Состязание в благородстве между двумя сверхджентльменами», — иронически, как почти всегда, говорила Людмила Ивановна. Она тоже была бескорыстна. Двухсот рублей было вполне достаточно при их скромной жизни, но Люда находила, что спорить не стоит и даже несколько смешно: уж если брать деньги у Ласточкина (это и ей было не совсем приятно), то совершенно все равно, брать ли двести или, например, четыреста. Как раз две недели тому назад, перед своим отъездом из Москвы за границу, Дмитрий Анатольевич прислал экстренную сумму, с очень милым и деликатным письмом: «...Надеюсь, вы на меня не рассердитесь, — писал он, — но ведь ты, Аркаша, не станешь меня уверять, будто ты мог кое-что отложить в запас. И Тане и мне совестно отрывать тебя от лаборатории, да уж очень нам хочется увидеть вас обоих в Монте-Карло, мы больше года не виделись, а в Париж мы на этот раз заехать не можем: и туда, и назад едем прямо через Вену. Умоляем вас, приезжайте, хотя бы на две недели. К тому же ты ведь можешь рассматривать и эти деньги как «долг», уж если ты такой гордый чудак и не желаешь понять, что после жены и сестры ты для меня самый близкий человек на свете. Когда ты через год вернешься в Москву, ты легко найдешь хорошо оплачивающуюся работу. У нас теперь ученые институты растут как грибы. Итак, приезжайте непременно и телеграфируйте, на какой день приготовить для вас комнату».

Люда настояла на том, чтобы Рейхель принял приглашение. Она не прочь была пожить две недели в Париже без него.

— Как же я им объясню, что ты со мной не приехала?

— Объясни как тебе угодно. Можешь сказать, что у меня очень много работы перед партийным съездом в Брюсселе.

— Это у них восторг не вызовет.

— Я давно примирилась с тяжелой мыслью, что проживу свой век, не вызывая восторга у московских буржуа.

— Если ты не поедешь, то надо вернуть Мите хоть половину его денег.

— Деньги занимают слишком много места в твоей психике. Но, пожалуй, верни. Если же он не примет, то отдай мне для партии.

— Партия занимает слишком много места в твоей психике.

— Хорошо сравнение! Впрочем, делай как хочешь.

Вышел холодок, вероятно, пятидесятый по счету в их жизни за последний год. Ссоры не было, но у обоих скользнула мысль, что было бы не так страшно и расстаться. У Рейхеля любовь и вообще не занимала большого места в жизни, и он этим немного гордился.

В назначенный для его отъезда день оба встали очень рано. Умывшись, Аркадий Васильевич положил туалетные принадлежности в потертый, с оторванной ручкой, не запиравшийся чемодан. По выработанной Людой конституции, вещи всегда укладывал он. Всё уложил с вечера. Так как поездка была «для отдыха», он взял с собой лишь немного книг, — в других случаях книги составляли его главный груз. Тем не менее туалетные принадлежности еле вошли, он с трудом стянул ремни. Люда с досадой смотрела на его высокую, нескладную, чуть сутуловатую фигуру, на мыло, зубную щетку, эликсир, завернутые в газетную бумагу, на чемодан, купленный в Москве на толкучем рынке: все-таки хорошо было бы иметь приличные дорожные вещи, за которые не было бы стыдно перед носильщиками.

«Если ты не желаешь казаться оборванцем, то купи наконец хороший мэдлеровский чемодан!» — нередко говорила она. Так провинциальные журналисты иногда в передовых статьях писали: «Если Англия не желает опуститься до уровня второстепенной державы, то...» Аркадий Васильевич так же мало желал казаться оборванцем, как Англия опуститься до уровня второстепенной державы. Все же он хорошего мэдлеровского чемодана не покупал, — «устроимся в Москве, станем на ноги, тогда и купим».

Люда провожала его на Лионский вокзал. Перед уходом из дому простилась со своей кошкой Пусси, поцеловала ее и поговорила с ней на кошачьем языке. Рейхель только вздыхал. Эта кошка отравляла ему жизнь, рвала и пачкала мебель, вскакивала за обедом на стол, интересовалась его тетрадами. Как всегда, они не рассчитали времени и приехали за полчаса до отхода поезда.

— Я говорила тебе, что слишком рано едем! Что теперь здесь делать?

— Напротив, это я говорил, что слишком рано едем. Но тебе незачем оставаться на вокзале, поезжай домой или куда тебе нужно.

Она осталась, хотя знала, что разговаривать не о чем и незачем. Аркадий Васильевич купил билет